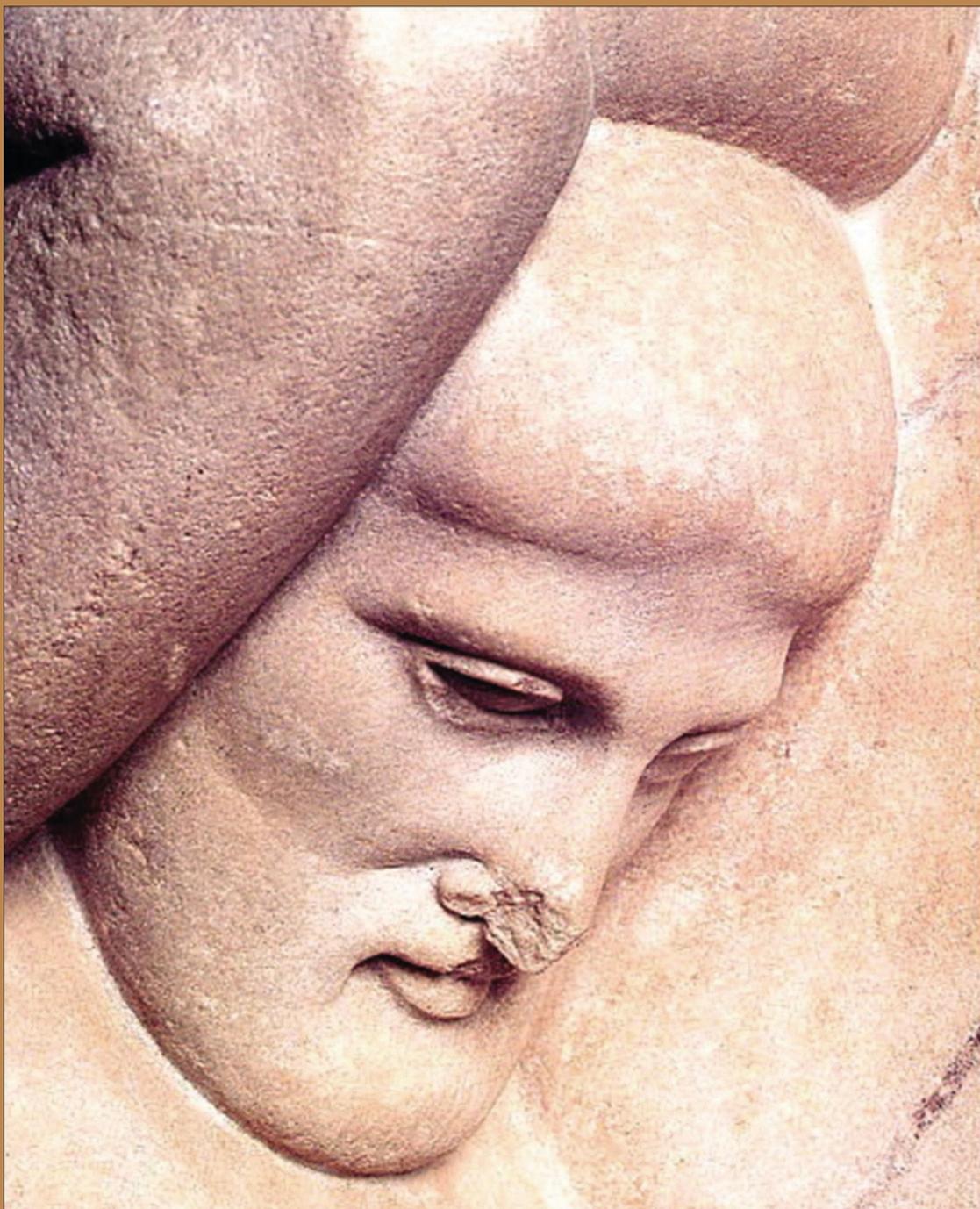


Александр Мень



Дионис, Логос,
Судьба

В поисках Пути, Истины и Жизни

Александр Мень

**В поисках Пути, Истины
и Жизни. Т. 4: Дионис,
Логос, Судьба: Греческая
религия и философия от эпох
колонизации до Александра**

«Гуманитарно-благотворительный
фонд имени Александра Менья»

2009

УДК 2
ББК 86.3

Мень А.

В поисках Пути, Истины и Жизни. Т. 4: Дионис, Логос, Судьба: Греческая религия и философия от эпох колонизации до Александра / А. Мень — «Гуманитарно-благотворительный фонд имени Александра Менья», 2009 — (В поисках Пути, Истины и Жизни)

ISBN 978-5-903613-00-7

В книге, посвященной Греции, автор с терпением и любовью ведет читателя по путям поиска Истины за древнегреческими поэтами и философами. И многое оказывается понятным и близким – ведь материализм и тоталитарная идеология, метафизика и оккультизм, агностицизм и вера в Судьбу вошли в наше сознание и европейскую культуру именно из древней Эллады.

УДК 2
ББК 86.3

ISBN 978-5-903613-00-7

© Мень А., 2009
© Гуманитарно-благотворительный фонд имени Александра Менья, 2009

Содержание

Введение	6
Часть I	9
Глава первая	9
Глава вторая	17
Глава третья	28
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Протоиерей Александр Мень В поисках Пути, Истины и Жизни. Том 4: Дионис, Логос, Судьба: Греческая религия и философия от эпохи колонизации до Александра

*О, смертной мысли водомет,
О, водомет неистоцимый!
Какой закон непостижимый
Тебя стремится, тебя мятет?
Как жадно к небу рвешься ты!..
Но длань незримо-роковая
Твой луч упорный преломляя,
Свергает в брызгах с высоты.*

Ф. И. Тютчев

Редакционная коллегия:

Роза Адамяни, Наталия Вторушина, Наталья Григоренко, Павел Мень



Издательство благодарит Юликова А. М. за художественное оформление обложки, сюжет которой был предложен автором.

Введение

Проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано: «неведомому Богу». Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам.

Из речи апостола Павла к афинянам Деяния 17, 23

В Евангелии есть единственное место, где упомянуты греки: когда они через апостола Филиппа искали беседы с Иисусом. Эпизод, казалось бы, мимолетный, о котором говорится очень мало, но знаменательны слова Христа, сказанные по этому поводу: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому» (Ин 12, 23). Речь, очевидно, идет не о Его небесной славе, а о принятии людьми Благой Вести¹. И действительно, эллинистический мир, окружавший со всех сторон Иудею, стал первым полем жатвы апостолов, когда они обратились с проповедью к язычникам. Вышедшее из библейской страны слово было принято людьми античного общества и культуры, и на этой почве возростала Вселенская Церковь. Мученики и апологеты, учителя и отцы Церкви в большинстве своем были сынами греко-римского мира. Этот факт, оказавший огромное влияние на жизнь христианства, не мог быть случайным, он имел много предпосылок, из которых мы выделим две основные.

Прежде всего, многие античные идеи подготовили умы к восприятию Евангелия. Как не для всех иудеев оно было «соблазном», так и не все эллины видели в нем «безумие». Когда греки и римляне, искавшие истину, приходили к христианству, они обнаруживали в нем немало того, чему учили их философы. Это облегчало им приобщение к Церкви, и, в свою очередь, сами они, возвещая Слово Божие, прибегали к системе античных понятий.

«Когда говорим, что все устроено и сотворено Богом, – писал во II в. св. Иустин Мученик, – то окажется, что мы высказываем учение Платоново; когда утверждаем, что мир сторит, то говорим согласно с мнением стоиков; и когда учим, что души злодеев, и по смерти имея чувствование, будут наказаны, а души добрых людей, свободные от наказания, будут жить в блаженстве, то мы говорим то же, что и философы»². Эти совпадения не являлись в глазах святого простой случайностью. Он верил, что Логос задолго до воплощения уже «был причастен роду человеческому» и открывал людям истину постепенно. Как иудейские праведники были служителями Слова, «христианами до Христа», так и эллинские мудрецы могли быть ими, если внимали голосу Божию. Среди них св. Иустин называет Сократа и Гераклита³.

С другой стороны, в эпоху первохристианской проповеди античный мир переживал глубокую неудовлетворенность своим мирозерцанием. Самые великие достижения эллинской мысли не могли утолить жажду новых идеалов, и этот кризис подготовил античного человека к принятию учения, пришедшего с Востока.

Правда, о чувстве духовной несостоятельности, томившем древний мир, впоследствии было забыто. Со времен Ренессанса «беломраморная Эллада» стала рисоваться европейцам как законченное воплощение всего прекрасного, разумного и счастливого. Слово «Греция» привыкли ассоциировать со сказочной картиной, которая надолго заорожила лучшие умы Европы. Ослепительно белые колонны на фоне глубокой лазури; статуи, овеянные величием и покоем; боги, приветливые, как люди; люди в белых одеждах, прекрасные, как боги, мудрые, просветленные; алтари среди кипарисовых рощ, веселые наяды, играющие у ручьев; философы, свободно обсуждающие мировые вопросы... Нет ни крайностей, ни нетерпимости. Повсюду царят разум, равновесие и совершенство. Здесь прекрасно все: и гражданская доблесть, и семейный очаг, и старинные обряды, и гимнастические состязания.

Такой была эта обетованная земля в представлении многих – вершиной человечества, золотым веком его истории. «Греция представляет нам отрадную картину юношеской свежести

духа», – писал Гегель, определявший эллинские верования как «религию красоты». В известном стихотворении Шиллера «Боги Греции» эта вера в Элладу звучит восторженным панегириком:

Обычного земного поклоненья
И тяжких жертв не требовалось там,
Там счастья искали все творенья;
Кто счастлив был, тот равен был богам.

Сколько было сказано и написано о волшебной красоте греческой природы и скульптуры, о жизнерадостности греков, о независимости и оптимизме их мышления! Сколько раз Греция, искусство которой Маркс называл «нормой и недостижимым образцом», становилась законодательницей мод, властительницей дум! Просвещение и наука были неотъемлемыми атрибутами Эллады в глазах поборников «светской культуры». Вторя древним язычникам, они утверждали, будто Евангелие разрушило «мир мудрости и светлой радости». Мысль о том, что античный мир мог нуждаться в какой-то более полной истине, казалась нелепой: чему было учиться Элладе у «скорбного дисгармоничного Востока»? Ницше видел в Греции оплот духовной свободы, а мироотрицание и рабство связывал с верой Библии. Он прошел мимо Песни Песней и Книги Иова, забыл о Кане Галилейской и евангельских словах: «Вы познаете истину, и истина сделает вас свободными». А ведь не кто иной, как он сам, приводил греческую легенду о Силене, у которого люди хотели выведать секрет счастья; пойманный по приказу царя демон долго молчал, но наконец воскликнул: «О человек, эфемерное создание, дитя злой судьбы! Лучше для тебя вовсе не родиться, а уж если явился на свет, тебе хорошо умереть как можно скорее».

Эти слова легенды, столь далекие от пресловутой «жизнерадостности» греков, позволяют увидеть античность в совершенно ином свете.

С привычными представлениями всегда трудно расставаться, тем не менее сегодня следует признать, что старый романтический образ Греции далек от действительности: он является лишь одним из мифов, унаследованных от эпохи Возрождения.

Первая брешь в этом мифе была пробита открытием богатств древневосточной культуры. Прежде эллинство казалось каким-то уникальным островом мысли и искусства среди темного, варварского мира. Теперь же обнаруживалось, что на Востоке поэзия, наука, зодчество, скульптура и живопись расцвели задолго до того, как появились в Греции. Изучая античный быт, археологи убедились, что он был мало похож на идеальную картину, нарисованную мифом об Элладе. Даже в Афинах рядом с прекрасными храмами теснились жалкие кварталы, где было столько же грязи, смрада, неудобств и нищеты, сколько в любом городе древнего мира.

Когда спала с глаз пелена предвзятости, по-иному стала вырисовываться и греческая история. Ведь подобно всем другим, она была полна зверств, предательств, насилий, безумия и фанатизма; она знала и коррупцию властей, и преследования инакомыслящих, и жестокий деспотизм.

Изучение греческой религии и философии за последние сто лет окончательно развеяло миф об Элладе. Еще в XIX в. была как бы заново открыта мистическая Эллада, суровая и трагичная. Стало понятно, чем были для греческого духа буйная стихия Диониса, вера в Судьбу, породившая «античный ужас»; обнаружилась удивительная близость путей Греции и Востока⁴. В результате этих переоценок античный мир не потерял своего индивидуального лица, но оно уже более не казалось божественным.

В этой новой Элладе по-прежнему остается место эстетам и жизнелюбцам, скептикам и рационалистам, но мы также находим в ней пессимизм и уныние, растерянность и отвращение к жизни. Мы обнаруживаем в ней мистическую тоску и проповедь аскетизма. По-другому

прочитываются теперь и давно известные античные тексты. Из них явствует, что древний грек отнюдь не был наивным баловнем счастья. Напротив, он слишком часто ощущал себя игрушкой неведомых сил, и даже боги не были в его глазах свободными существами.

Печатью трагичности отмечена и история греческой мысли. Неимоверные усилия проникнуть с помощью разума в тайники Сущего при всем их героическом величии были отравлены сознанием своей немоги и безнадежности.

Всего этого слишком долго не видели или не хотели видеть, а между тем, быть может, именно здесь трепетало самое сердце греческого мира.

Стоит ли сожалеть о развенчанном мифе? Лишилась ли теперь Греция своей красоты и значительности? Скорее наоборот. Эта страдавшая, искавшая, заблуждавшаяся Эллада дороже нам, чем та – воображаемая. Современный мир во многом повторяет ее опыт: так же, как она, он мечется, бросаясь от материализма и тоталитарной идеологии к метафизике и оккультизму. Поэтому, лишенная своих стилизованных одеяний и перестав быть идеалом, Греция становится более близкой к нам в своей скорбной неудовлетворенности, в искании вечного и совершенного.

Часть I

Сумерки олимпа и греческая мистика

Глава первая

Железный век. Гесиод. Греция и Иония, 1000— 600 гг. до н. э

*О, где же вы, святые острова,
Где не едят надломленного хлеба,
Где только мед, вино и молоко,
Скрипящий труд не омрачает неба
И колесо вращается легко?*

О. Мандельштам

В истории большинства древних религий есть переломный момент исключительной важности: когда человек, впервые осознав священный характер порядка, гармонии и разума, противопоставляет их иррациональным силам хаоса. Этот момент запечатлен в мифах *о борьбе богов*. Против стихийных демонов первобытного мира выступают божества человекоподобные, созидающие стройную иерархию мироздания.

В античной религии это пока еще смутное ощущение божественности разума и духа выразили сказания, во многом похожие на мифы Вавилона, Египта, Ханаана. Если на Востоке Мардук, Ра, Ваал-Хадад поражают чудовищ, то у греков мы видим дружину Зевса, низвергающую в бездну титанов и гигантов, и Аполлона, расправляющегося с драконом.

В плане узкоисторическом эти мифы – отголосок той эпохи, когда племенные боги ахейцев утвердились на полуострове, оттеснив древнейшие культы туземцев Греции. Боги-победители поселились на Олимпе, который в представлении эллинов стал уже не только горой, но и некоей небесной областью. Обитатели Олимпа мыслились как существа, во всем, кроме бессмертия, сходные с людьми. Мифы красочно рисуют их жизнь среди войн и соперничества, интриг и пиров, любви и ненависти. Звон оружия, пение, «несказанный смех» постоянно оглашают Олимп, разительно напоминая царские дворы Микен или

Тиринфа. В этой картине нельзя, однако, видеть только грубозычское понятие о богах. Победа Олимпийцев над темными сынами Матери-Земли отразила гордое самосознание человека-борца, человека-деятеля и устроителя жизни, узнавшего о своем превосходстве над природой. Сколь бы странно это ни казалось на первый взгляд, триумф человекоподобных богов в наивной форме заявлял о вере в высшую значимость духовного начала. Олимпийский миф стал предтечей и прообразом учений греческих философов о космическом Разуме-Логосе.



Гора Олимп

Однако победа Олимпа, как гласит сказание, не была полной: сразив титанов и чудовищ, боги не решились посягнуть на саму Богиню-Мать. Верховная власть осталась за ней. И мы видим, что в греческой религии превыше всего, даже Олимпа, продолжала тяготеть неизбывная *Судьба*, которую невозможно было ни постичь, ни одолеть, ни умолить. Она являлась все той же Богиней-Прародительницей. Именно здесь корень того фаталистического чувства, из которого родилась античная трагедия, воспевшая тщетный поединок человека с Неведомым⁵.

Таким образом, трон Зевса оказался непрочным, а господство его в конечном счете – мнимым. Отсюда понятно, почему наряду с почитанием Олимпа мы постоянно встречаем в Греции попытки вернуться к древней религии Природы.



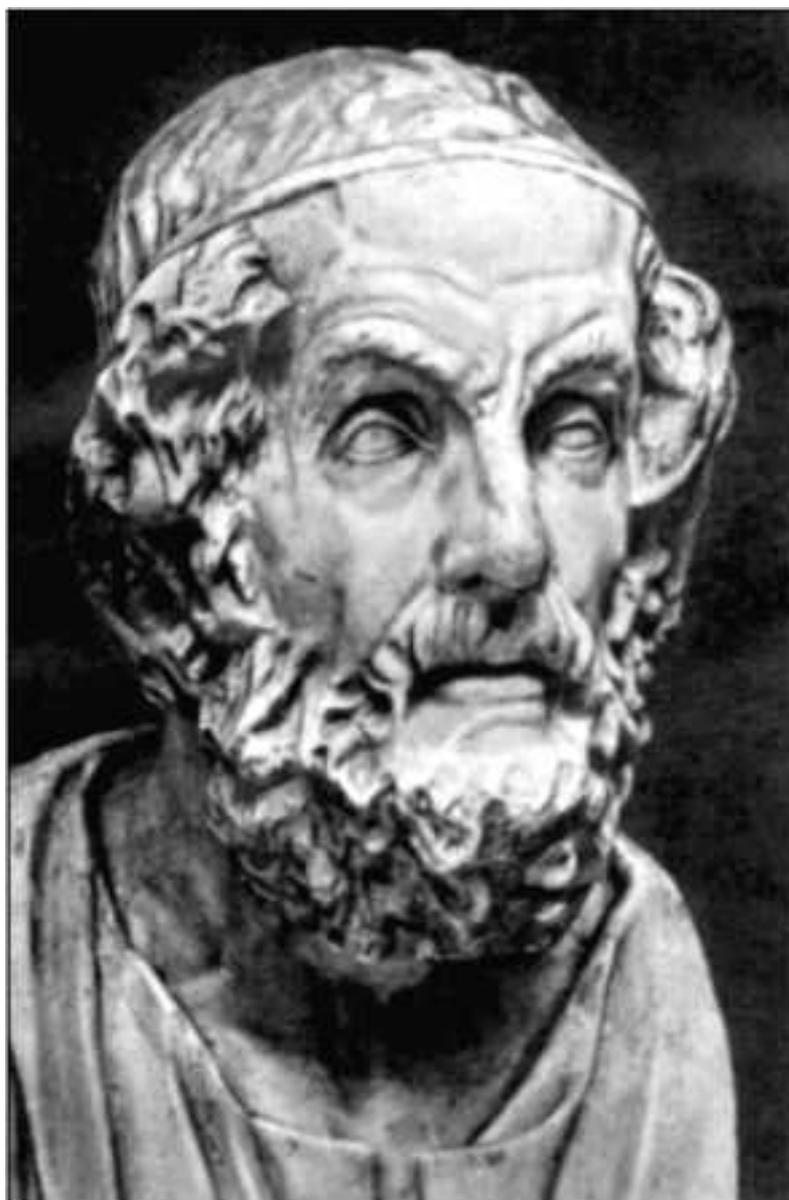
Зевс и гигант. *Рисунок с античной вазы*

Почему же ахейский пантеон смог тем не менее устоять и в течение веков оставаться в центре официальной религии греков? Причину этого мы поймем, если обратимся к смутной эпохе XII в. до н. э., когда весь средиземноморский мир всколыхнули войны и переселения народов.

Троянский поход и нашествие дорийцев привели к упадку, а затем к гибели старые ахейские царства. Микены, Пилос и другие прославленные Гомером города были разрушены; замерла торговля, страна оказалась в изоляции и скоро впала в нищету и одичание¹.

Эти события могли бы стать роковыми для Олимпийской религии, однако одно обстоятельство предотвратило ее исчезновение. Вторжение дорийцев и разруха не коснулись *Ионии* — малоазиатских городов, заселенных греками. Ионийцы сумели сохранить микенские предания, а вместе с ними и веру в своих богов.

Религия оказалась неразрывно сплетенной с героическим прошлым Греции. Поэмы *Гомера*, сложенные в Малой Азии, увековечили не только древних витязей и царей, но и Зевса с его свитой. Отказ от старых богов означал бы теперь для греков разрыв с самыми дорогими воспоминаниями. «Илиада» и «Одиссея» стали отныне и памятником национальной традиции, и настоящей энциклопедией, откуда многие поколения эллинов черпали свои религиозные понятия.



Гомер. Античный бюст

¹ См.: А. Мень. Магизм и единобожие, гл. XVI.

Геродот впоследствии писал, что до Гомера греки не имели ясного представления о богах, их жизни, отношениях и сферах деятельности⁶. Таким образом, стремление сохранить отечественное наследие привело к образованию своего рода «гомеровской религии», для которой поэмы ионийского певца послужили чем-то вроде священной книги.

В силу этого некоторые историки называли Гомера религиозным реформатором, но, пожалуй, вернее было бы считать его хранителем и собирателем народных преданий. Не в религиозной области, а в сфере художественной проявился его творческий гений. Можно сомневаться, внес ли он в религию нечто свое; скорее всего поэт лишь претворил в пластические образы старинный ахейский пантеон.

Как бы то ни было, Иония и Гомер спасли Олимп от забвения. Но они мало что сделали для одухотворения прежних верований, и поэтому новый религиозный кризис, на этот раз связанный с ломкой жизненного уклада Греции, стал неизбежным.

* * *

Со времен Троянской войны, на протяжении двух-трех веков, облик Эллады постепенно изменялся. Вслед за нашествием дорийцев пришли годы относительного спокойствия: каждое племя отвоевало себе земли, образовав новые *полисы*, города-государства. Дорийцы осели на юге, ионийцы утвердились на Аттическом полуострове. Все полисы чтили общую святыню – Дельфийского оракула, которого дорийцы пощадили, как некогда ахейцы – Додону. Появилась общегреческая письменность, созданная на финикийской основе. Мирные профессии стали выдвигаться на первый план. Железо, секрет выплавки которого был принесен в страну дорийцами, помогло улучшить орудия труда. Вновь начали развиваться заброшенные во время войны ремесла. К VIII в. греческий мастер уже владел не только долотом и стамеской, но также циркулем, линейкой, уровнем.

Росло население, страна должна была кормить все большее число людей, крестьяне уходили в море на поиски плодородных земель. Корабли греков шли по следам древних критян и финикийцев; десятки факторий и поселков возникали по берегам Средиземноморья. Началась эпоха *колонизации*. Многие существующие и поныне города – Неаполь и Мессина, Марсель и Константинополь, Одесса и Феодосия – основаны греческими колонистами.

Немало удачливых путешественников, отправившихся в путь бедняками, возвращались обогащенными. Старые аристократические семьи эвпатридов, которые вели свой род от богов и героев, постепенно теряли былое значение. Далеко в прошлое ушли грабительские походы их предков, теперь состояние добывалось иными путями. Появились деньги.

С возникновением «капитала» торговцы получили возможность накапливать свои доходы: деньги не портятся, как вино и пшеница, и они не просто символ богатства, они – богатство реальное, благодаря им открывается путь к власти. Достаточно было их хозяевам пожелать, как эти кусочки металла превращались в нагруженный товарами корабль, который шел к гаваням Архипелага, Черного моря, Азии или Италии и возвращался, нагруженный еще большим количеством могущественного металла.

Эти новые перспективы буквально вскружили грекам головы; начинается всеобщая погоня за наживой. Именно в это время складываются поговорки: «Честь следует за богатством», «Деньги делают человека». Поэт Феогнид, поклонник аристократической чести и родовой гордости, с осуждением говорит о распространенных в те годы браках по расчету, когда «знатный берет себе в жены простую, простолюдин – госпожу». Он жалуется, что проходимцы, которые вчера еще бродили в лохмотьях, обогатившись, «стали теперь господами».

Впрочем, если в каком-то смысле знатные греки уравнивались с людьми низкого происхождения, то, с другой стороны, создавались и новые подразделения. Власть денег разрушала обы-

чай и нормы поведения, которые еще сохранились от старинных героических времен. Понятия о чести и порядке утратили свою силу:

Ныне несчастья добрых становятся благом для низких
Граждан; законы теперь странные всюду царят:
Совести в душах людей не ищи; лишь бесстыдство
и наглость,
Правду победно поправ, всею владеют землей⁷.

Примечательно, что в Греции подобные голоса, осуждающие упадок нравов, раздавались в основном не в среде служителей религии, а исходили от поэтов. И это происходило не потому, что жрецы не имели влияния; напротив, Дельфийский оракул, например, пользовался большим авторитетом. Причина здесь заключалась в том, что Олимпийский культ сам по себе был лишен внутреннего источника духовно-нравственной силы.

Правда, и Гомер, и жрецы Дельф утверждали, что Зевс карает клятвопреступников, что боги требуют от людей честности, но эти моральные требования никак не вязались с образами Олимпийцев, сложившимися под влиянием гомеровского эпоса. Стоит лишь вспомнить, например, что лукавый Гермес именовался в одном гимне «изворотливым ловкачом, докой, хитрым пролазой»; он был плоть от плоти пронырливого купеческого сословия. Нравы богов служили нередко примером для людей, поступавших коварно или жестоко.

Неудивительно поэтому, что сельские жители Греции относились к Олимпийцам несколько прохладно. Крестьянам куда ближе были старые, доахейские божества древних туземных племен, культы которых не могли полностью искоренить никакие исторические перемены. Правда, как члены общин люди продолжали формально почитать персонажей гомеровской мифологии, но тепло своей души предпочитали отдавать Матери-Земле, нимфам и демонам стихий.

* * *

Выразителем настроений греческого земледельца стал беотийский поэт конца VIII в. до н. э. *Гесиод*.

Судьба этого человека была типичной для того времени. Отец его, разорившийся крестьянин, пытал счастья в колониях, но торговца из него не вышло, и, гонимый «злой нищетой», он вернулся на родину. Гесиод родился в суровом краю у горы Геликон, где зимой постоянно дуют пронзительные ветры, а летом царит изнуряющий зной. На этом унылом фоне протекала жизнь поэта, с ранних лет познавшего нужду и тяжелый труд. Скучная земля едва могла пропитать его семью. После смерти отца Гесиода постоянно преследовали неудачи. Тяжбу из-за скудного наследства выиграл его младший брат, Перс, который, подкупив судей, обрек Гесиода на нищету.

Дальнейшие взаимоотношения братьев мало известны, но из поэмы «Труды и дни», в которой Гесиод обращается к Персу, явствует, что соперники примирились. Правда, произошло это лишь после того, как Перс сам разорился, но Гесиод наставляет его без всякого злораства: скорее как отец, чем как оскорбленный брат.

По тематике стихи Гесиода вполне можно назвать религиозными. Его интересовала старая мифология; в своей «Теогонии» он собрал сказания о происхождении богов, об их борьбе с титанами и победе Олимпа. Но религиозный дух в поэме отсутствует. Бросается в глаза, что перипетии бессмертных Гесиод рисует как нечто далекое от человека, почти его не касающееся. Боги живут сами по себе: спорят, воюют, вступают в браки, – люди же мелькают в «Теогонии» как третьестепенные существа. Мало того, очевидно, что Зевс не только не помогает

им, но и настроен по отношению к ним враждебно. Только Прометей (возможно, древний бог туземцев Греции) вступает за них и добывает им огонь. Поэт глухо намекает на какую-то распря между людьми и богами⁸. Все это доказывает, что собиратель мифов был далек от искреннего благоговения перед Олимпом.

Свои раздумья о жизни и вере Гесиод изложил в поэме «Труды и дни». Натура меланхолическая, человек, привыкший на все смотреть сквозь призму мудрой печали, Гесиод отворачивал свой взор от грозной красоты Геликона, предпочитая описывать ненастные дни и унылое завывание ветра в горах. Но природа стучалась в его сердце, когда он пас коз, и Гесиод наконец научился различать ее таинственные голоса.

Он рассказывает, что ему стали являться божественные девы Музы, владеющие секретами счастья и мудрости. Была ли то лишь аллегория или действительно видения и сны вдохновляли поэта, во всяком случае Гесиод считал себя избранником Муз, отмеченным их печатью. Он не походил на экзальтированного мистика, для этого у него был слишком трезвый и земной ум крестьянина, однако именно любовь к земле и труду составляла самое существо его религиозности.

Надо признать, что Музы не баловали поэта новыми откровениями. Скорее наоборот, Гесиод, излагая их «учение», становится поборником возврата к архаическим верованиям и обычаям. Наставления «Трудов и дней» – это не что иное, как огромная система первобытных табу и суеверий. Когда Гесиод говорит о семье Олимпийцев, речь его лаконична и суха, зато там, где он касается хтонических² поверий, в его голосе начинают звучать искренность и сердечность.

Он заботливо сообщает Персу о необходимых правилах и предосторожностях. Вступая в прозрачные струи ручья, не забудь помолиться нимфам и омыть руки, в противном случае тебя ждут несчастья. Омовения необходимы при принесении жертвы. Стоя перед божеством, человек не смеет быть обнаженным; обнажаясь после захода солнца, можно оскорбить Ночь. Когда сидишь на пиру, грех обрезать ногти. Если вступаешь в брак, не забудь вопросить Судьбу через полет птиц. Мальчик, случайно положенный в гробницу, рискует впоследствии потерять мужскую силу.

Гесиод скрупулезно отмечает все священные дни, указывая, в какой из них лучше стричь овец, делать запасы, зачать младенца мужского пола или приручить быка. Особые дни положены для вскрытия сосудов с вином и начала постройки корабля. Множество и других подобных премудростей заключено в «Трудах и днях».

Откуда же у грека той эпохи эта тяга к старинным обрядам, к миру древнейших земледельческих верований? Ведь все изложенное у Гесиода не было лишь его личной фантазией или пристрастием; его поэмы не прославились бы так, если бы воззрения поэта не привлекали симпатии многих. В художественном отношении они бесконечно уступали Гомеру, и, следовательно, современников интересовали прежде всего выраженные в них идеи. Секрет успеха Гесиода заключается в том, что он выразил настроения крестьян, осуждавших новшества городской жизни.

Гесиод – апологет прошлого, кладезь житейской мудрости пахаря. Он прославляет загородный труд патриархальной старины и почти с отвращением говорит о морских путешествиях, источнике обогащения торговцев. «Труды и дни» изобилуют практическими советами по сельскому хозяйству; Гесиод говорит об этих вещах уверенно и как знаток. Отказ от новой, городской цивилизации рожден у поэта тоской по «утраченному раю» сельской идиллии.

² От греч. *хтон* – почва. Культы, связанные с землей.

* * *

Поэма Гесиода – один из первых в истории примеров протеста против роста материальной культуры. Нетрудно понять причины этого протеста. Человек, как правило, не знал меры в своих начинаниях: цивилизация слишком часто принимала уродливый характер, вызывая у людей недовольство и тягу к опрощению. Древний мир знал своих Руссо и Толстых. Израильские рехавиты отказывались жить в каменных домах, выращивать виноград и стричь волосы; Лао-цзы мечтал о временах первобытной естественности; точно так же и Гесиод – враг городской жизни, проповедник возврата к жизни природной.

Главным аргументом этих людей против цивилизации было то, что она ведет мир к нравственному вырождению. Именно поэтому они видели в росте городов причину всех бедствий народа. Гесиод с горечью говорит о всемогуществе денег, алчности и подкупах. Неправедного судью он сравнивает с ястребом, который, сжав в когтях соловья, надменно спрашивает: «Что ты, несчастный, пищишь?» Гесиоду многое открыл здесь собственный печальный опыт.

Лжи, корысти и насилию поэт противопоставляет божественную справедливость — *Дике*. Хотя, следуя общей традиции, он и связывает эту богиню с Олимпом, но в сущности она как-то не вяжется с ним. Может ли Дике быть наперсницей Зевса, если он является скорее врагом, чем другом человека? Ведь по его воле род людской обречен на борьбу за жизнь.

Скрыли великие боги от смертных источники пищи:
Иначе каждый легко бы в течение дня наработал
Столько, что целый бы год, не трудясь, имел пропитанье.
Тотчас в дыму очага он повесил бы руль корабельный...
Но далеко Громовержец источники пищи запрятал⁹.

И, однако, Гесиод далек от богоборчества. Пусть его интерес к истории богов – это не интерес почитателя, а скорее желание знать мир противника, тем не менее этот мотив тщательно скрыт. Вместе с поверженными титанами поэт признает владычество Олимпа. Он боится его, и ему хочется, чтобы Зевс правил в согласии с Дике. Быть может, увещевая брата быть справедливым и честным, Гесиод в глубине души признавал, что в этих поучениях Зевс нуждается не меньше, чем Перс. Но господин есть господин. Судьба поставила Зевса над миром, и человеку неоткуда ждать помощи. Громовержец лишь терпит его. Конечно, у людей есть друзья – это демоны и нимфы, помощники крестьянина, но и они подчиняются Зевсу.

Гесиоду кажется, что участь людей – медленное угасание, и отсюда рождается его *исторический пессимизм*. Он с восторгом говорит о дозевсовом времени, когда люди процветали под властью Крона. То был золотой век, когда смертные «не знали ни горя, ни печали, ни тяжкого труда». Не было жестокого соперничества между ними, не было мучительных противоречий веры и жизни, «душа их была спокойной и ясной». Трудились с радостью, умирали, «словно объятые сном». Но времена эти прошли безвозвратно.

Следующее, серебряное поколение – уже значительно хуже, оно породило безумцев, отказавшихся от служения богам. Вероятно, в предании о них смутно отразился облик ахейских пришельцев, отвергших старые культы, в то время как золотой век мог быть воспоминанием о славных временах Крита.

За серебряным следовало медное поколение могучих богатырей. Но «сила их собственных рук ужасную принесла им погибель».

Четвертый период – время героев Троянского похода. «Грозная их погубила война и ужасная битва». И вот наконец наступил *железный век* – закат человечества. Обуюнные жад-

ностью и злобой люди ведут между собой нескончаемую борьбу. Поэт сетует на то, что ему суждено быть свидетелем этой мрачной эпохи.

Если бы мог я не жить с поколением пятого века!
Раньше его умереть я хотел бы иль позже родиться.
Землю теперь населяют железные люди. Не будет
Им передышки ни ночью, ни днем от труда и от горя,
И от несчастий. Заботы тяжелые боги дадут им¹⁰.

Но впереди Гесиод видит нечто еще худшее – полное одряхление людей; ему кажется, что история – это наклонная плоскость, по которой они скользят в бездну.

Миф о возрастах человечества, воскрешенный в наши дни Шпенглером и Тойнби, был известен еще в Вавилоне, где впервые сложилось пессимистическое воззрение на мир¹¹. Но Гесиод самостоятельно обработал эту тему для того, чтобы выразить свое печальное кредо.

Беотийского певца часто сравнивали с пророком Амосом. Действительно, этот великий современник Гесиода тоже вышел из крестьянской среды и тоже обличал общественную неправду. Но взор пророка был устремлен вперед. Он видел в истории не только периоды регресса, но и высшую целенаправленность. Греческий же поэт весь обращен в прошлое: для него самое прекрасное, что было на земле, покоится в могилах. И это естественно, ибо где он мог черпать вдохновение для иного взгляда на жизнь? На кого было уповать? На закон Дике? Но откуда исходил этот закон? Если с Олимпа, то почему же царь богов проявлял столько зависти и мстительной злобы? Старые божества землепашцев, к которым тяготел Гесиод, были едва ли намного надежнее. Ведь Музы же признались Гесиоду, что они говорят людям правду или ложь в зависимости от своей собственной прихоти. Иначе и быть не могло: они по природе своей столь же капризны и переменчивы, как облака над Геликоном. Трудно надеяться найти у них настоящую правду.

Так, блуждая где-то между магизмом прадедовских культов, властным Олимпом и непреодолимой жаждой справедливости, Гесиод навсегда остался в замкнутом круге противоречий, жалуясь на судьбу, забросившую его во тьму железного века.

Глава вторая

Очеловеченные боги. Спарта и Афины, VIII–VI вв. до н. э

Друзьям в беде помочь бессильны боги.
Еврипид

В то время как сельские жители с недоверием и даже враждебностью встречали рост городской цивилизации, для самих горожан новые условия открывали перспективы дотоле неведомые и желанные. Менялся весь их жизненный уклад, причем на ход этих перемен воля вождей, политиков и реформаторов оказывала теперь куда большее влияние, чем тысячелетние традиции. Греция вступала на путь социальных экспериментов.

Власть монарха, который вел свою родословную от богов, отступала перед попытками *рационального устройства общества*. И с самого начала эти попытки приняли два направления: одно было связано с дорийской Спартой, а другое – с Афинами, населенными племенем ионийцев.

В Спарте все было словно решено раз и навсегда. Порядок, установленный легендарным Ликургом при поддержке вооруженных отрядов, процветал под девизом: «Побеждать и повиноваться». Как дисциплинированный воин не должен обсуждать приказов, так и рядовой спартанец был обязан беспрекословно чтить единый устав государства: он принадлежал не себе, а обществу.

Спартанцы горделиво именовали себя «общиной равных», ибо все, кроме остатков старого населения – илотов, обладали одинаковыми правами в полисе. Однако обязанностей у спартанцев было неизмеримо больше, чем прав.

Воспитанием граждан занималось государство, представленное Верховным Советом – Герусией. Власти решали даже вопрос о жизни и смерти новорожденного ребенка: если он казался слабым – его уничтожали. Подростков приучали к тяготам походной жизни и лишениям, испытывали их храбрость в драках, заставляли шпионить друг за другом и доносить.

Спарта походила на военный лагерь: стол – общий, одежда однообразная. Обычай общественного питания мотивировался тем соображением, что для человека лучше, если он будет как можно больше находиться на глазах у всех.

Постоянная муштра избавляла граждан от необходимости ломать голову над мировыми вопросами. Им прививали жестокость, ненависть к чужакам, готовность отдать жизнь за родину.

Это была первая в истории попытка решить проблему организации общества в духе «закрытого» режима. Спарта освободилась от политических распрей, и поэтому другие полисы, уставшие от них, иной раз с завистью смотрели на образцовый порядок дорийцев.

Но политическая стабильность была куплена дорогой ценой. В культурном отношении Спарта в конце концов оказалась пустоцветом. Она прославилась в основном лишь боевыми песнями и гражданскими стихами, оставив будущим поколениям пугающий пример общества, где государство поставлено над человеком.



Античная монета с изображением Афины

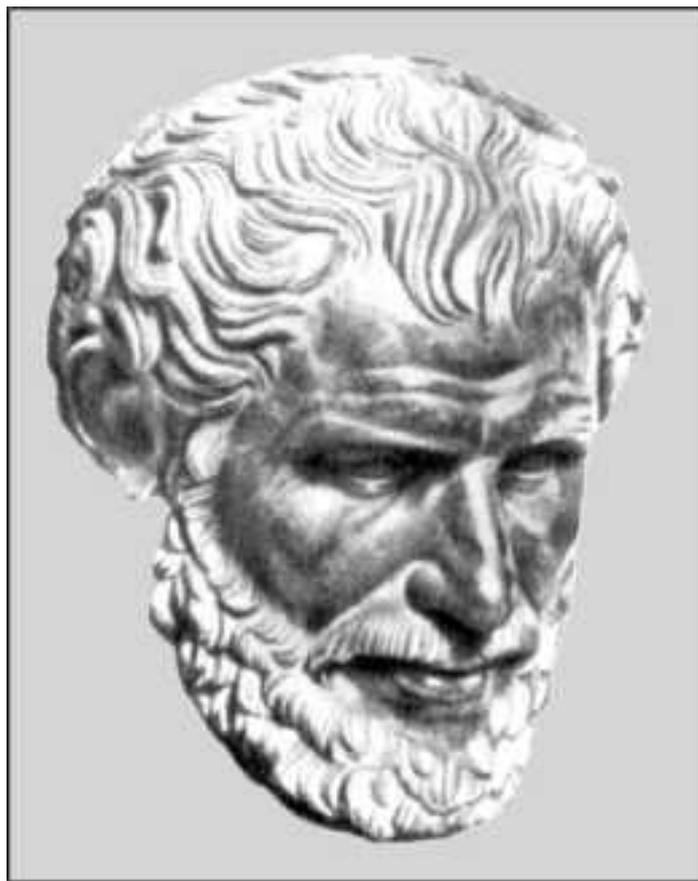
Если бы тот, кому довелось побывать в Спарте, посетил Афины, его прежде всего поразил бы психологический контраст между этими полисами. Воспитанники военизированного строя отличались угрюмым нравом; говорили, что от них услышать слово труднее, чем от статуи, а когда они нарушали молчание, речь их была кратка, как армейская команда.

В Афинах же все было наоборот: город кипел политическими страстями, на площади не утихали споры, болтовня, остроты и смех. Экспансивные, жадные до новинок, увлекающиеся модами и сенсациями, влюбленные в свободу, ионийцы были той средой, где закладывались светские основы европейской цивилизации. Книги греческих авторов, повествующие об Афинах тех времен, пестрят терминами «демагог», «тирания», «демократия» и другими, которые, пусть в несколько ином смысле, стали ходячими в новое время. Свобода выражения мыслей не была абсолютной, но она не шла ни в какое сравнение со спартанскими строгостями.

Если в Спарте человека дрессировали с пеленок, готовя на службу государству, то в Афинах признавалось законным, что интересы народа могут оказаться в противоречии с интересами властей.

Здесь, в Аттике, граждане впервые заявили о своем праве решать судьбу отечества и утверждать формы правления. На историческую арену выступила вся совокупность свободного населения – *демос*.

Десятки лет шла борьба между демосом и аристократией, пока в 594 году правителем Афин не был избран *Солон*. Мудрец, поэт и гениальный политик, он сумел не только установить равновесие между враждебными партиями, но и провести ряд важных преобразований. Отменил долговое рабство – этот бич древнего мира, с которым в те же годы, что и Солон, воевал пророк Иеремия. По его настоянию выкупили проданных на чужбину афинян, ввели ограничение на владение землей, узаконили суд присяжных. Но главное достижение Солона – это внедренные им принципы демократического правления. Аристотель верно определил их сущность, говоря, что Солон отнюдь не просто отдал всю власть в руки толпы, но «имел в виду дать народу только самую необходимую силу – именно избирать и контролировать должностных лиц: без этих прав народ был бы в положении раба и настоящим врагом правительства».



Солон

После ухода Солона от дел и новой полосы смут в 509 году была окончательно установлена демократическая конституция. Правитель Клисфен ввел тайное голосование, так называемый «остракизм».

Трудно переоценить значение этого переворота. Ведь в иерархическом обществе во многом действуют еще законы животного мира. Прежде считали, что стая есть нечто хаотическое, однако теперь установлено, что в ней существуют строго очерченные градации, подчинение и своеобразный «вождизм». Поэтому не будет преувеличением сказать, что демократия, наряду с искусством, религией и наукой, является одной из подлинно человеческих черт общества.

Говоря так, не следует, впрочем, забывать, что речь идет не об «идеальной» форме правления (подобная форма может быть образована лишь идеальными людьми), но – о наилучшей из возможных структур, которая менее всего подавляет свободу личности. И создателями основ этой структуры были афинские реформаторы, безусловно заслуживающие одно из первых мест среди героев истории.

* * *

На фоне успехов афинян в сфере социальной особенно поражает картина их религиозной жизни: здесь этот талантливый народ обнаруживает консерватизм и беспомощность, как будто бы весь его творческий потенциал был израсходован на «светские» области.

Почти единственными скрижалями веры для жителей полисов в то время по-прежнему оставались поэмы Гомера. Объясняется это не только привязанностью греков к национальному прошлому. В эпоху колонизации и политических движений, приведших к созданию новых общественных систем, вновь возродился угасший было дух мужества и героики. Поэтому глав-

ная тенденция «гомеровской» религии – *очеловечивание богов*— находила живейший отклик среди горожан¹².

Однако вскоре этот культ человеческого начала начинает тормозить движение греческой религии к более высоким ступеням; она оказывается уже не в состоянии подняться над простым антропоморфизмом. Боги застывают в том виде, как их канонизировали Гомер и Гесиод. То, что некогда одухотворяло богов, теперь замкнуло их в тесные рамки несовершенной человеческой природы. Бессмертие, поддерживаемое волшебным напитком, и необоримая сила олимпийских великанов являлись лишь чисто внешними признаками, отличающими богов от людей.

Процесс сближения между двумя мирами – Олимпом и родом смертных – прослеживается и в религиозном искусстве Греции VII и V веков.

Появившиеся в начале этого периода храмы сооружались по образцу жилищ и обычно отличались не слишком большими размерами. Это не случайно: строя их, греки в первую очередь хотели предоставить Зевсу и Посейдону «дом» в пределах своего города. Так, согласно эсхилловской «Орестее», народ, пытаясь смягчить гнев Эриний, обещает соорудить им жилища-храмы в Афинах.

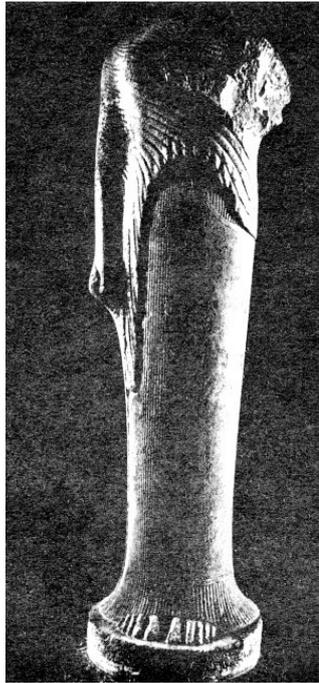
Возводя «обиталища» для богов, греки надеялись сделать бессмертных своими согражданами, покровителями полиса.

Здесь нетрудно заметить нечто родственное вере Израиля, который видел в Иерусалимском храме знак присутствия Божия. Но в то время как близость святыни усиливала в ветхозаветном человеке чувство трепета и благоговения, для грека вселение бога в храм было одним из средств очеловечения его. Разумеется, античное святилище тоже было окружено ореолом тайны, но в большей степени оно знаменовало «приручение» грозного Олимпийца, почти насильственное удержание его в полисе. Бывали даже случаи, когда статуи приковывали цепями, чтобы помешать богу покинуть свое жилище.

Эта же тенденция к стиранию границ божественного и человеческого наметилась и в культовых изображениях. Если от старых, примитивных идолов веяло чем-то загадочным, сверхъестественным, то в дальнейшем мы видим образы все более земные, доступные, человеческие. Путь этот завершился в стиле «высокой классики» V и IV веков.

Когда-то один французский писатель назвал классические статуи «истинными богами и богинями», но на самом деле они по существу перестали уже быть богами, а превратились в идеализированных людей. И, пожалуй, именно этого добивались греческие мастера, следуя духу «гомеровской» религии.

Божество, изваянное из камня, наделенное прекрасным земным ликом, живущее в собственном доме, мыслилось в значительной степени как друг, защитник и сосед грека. Олимп и город оказались рядом; ведь недаром мифы постоянно говорили о любви и браках между бессмертными и людьми.



Гера с о. Самос

Параллельно с этим умалением идеи Божественного возрастал и культовый хаос, ибо каждый городок и каждая местность хотели иметь «своих» богов. Даже в одной семье могли быть поклонники разных культов. Нередко провозглашались и новые божества: удача или несчастье, памятное событие или непонятное явление природы – все это легко пополняло и без того уже обширный пантеон. Многие почитаемые боги пришли в Грецию из Азии и с Крита, в первую очередь Артемида, Деметра, Аполлон.

Любопытно, что с ними, особенно с Аполлоном, связана противоположная тенденция, хотя и слабо выраженная. Восточные боги не так легко поддавались очеловечению. Некогда культ хеттского божества Апулунаса распространился по Малоазийскому побережью; в «Илиаде» это Аполлон, поборник Трои. Впоследствии центром его почитания в Греции стало уединенное горное святилище – *Дельфы*.



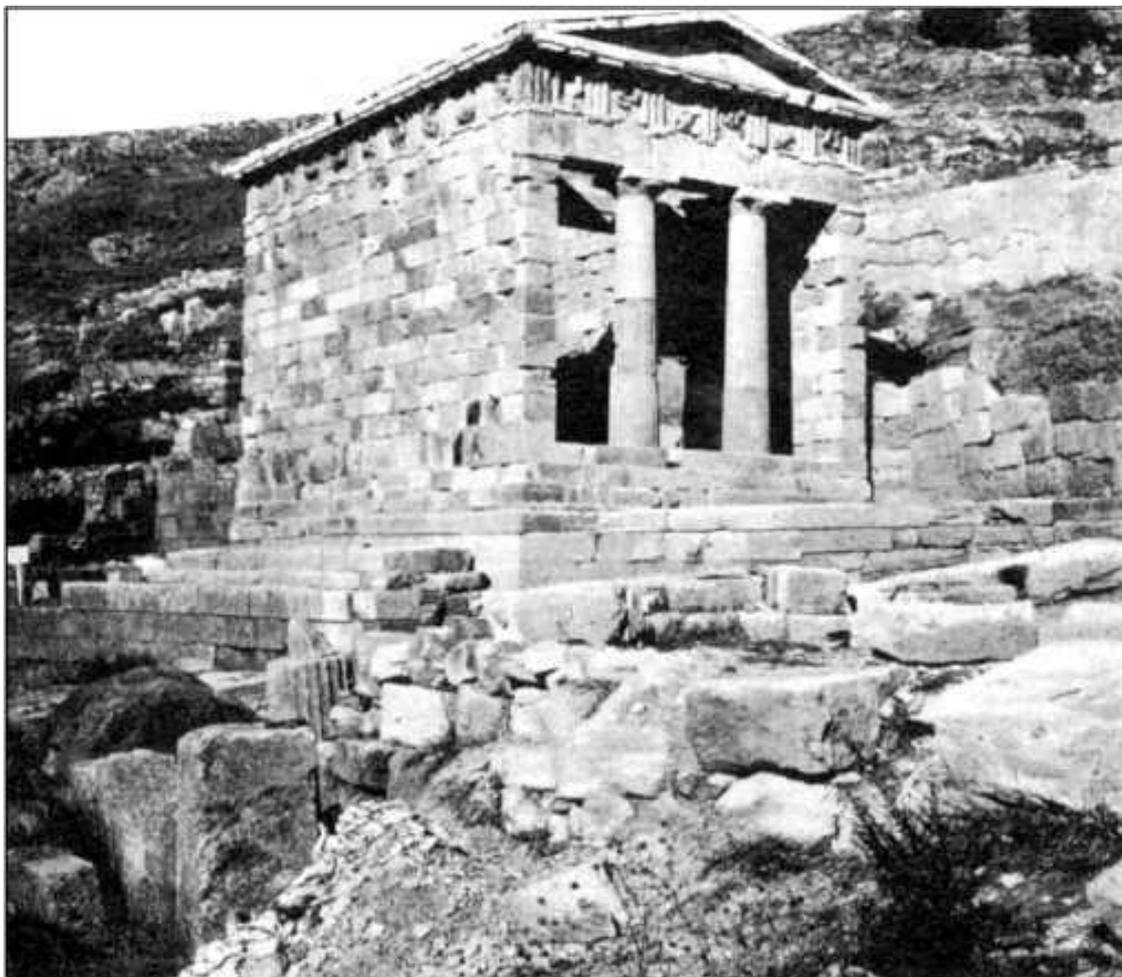
Развалины святилища Афины Пронаии в Дельфах

Гомер вкладывает в уста Аполлона слова, осуждающие попытки сближения богов и людей:

Гордый Тидид! Никогда меж собою не будет подобно
Племя бессмертных богов и по праху влачащихся
смертных!¹³

Дельфийский оракул по самой природе своей был защищен покровом тайны. Пифия прорицала там в состоянии исступления.

Жрецы Дельф хотели сделать оракула средоточием общегреческих верований. Спартанцы, афиняне, ионийцы из Азии – все с трепетом поднимались к дельфийским храмам. Сребролукий бог почитался как существо, властное освободить от ритуальных осквернений и кровной мести.



Сокровищница афинян в Дельфах

Но в конце концов и Аполлон не избежал общей участи Олимпийцев. Объявленный богом гармонии и искусства, он также спустился из заоблачных высей и стал олицетворением земной красоты.

При всем своем влиянии Дельфы не смогли занять места, к которому стремились. Жрецы Аполлона не выработали цельного религиозно-нравственного учения, которое могло бы возвысить их над другими духовными центрами; к тому же они сильно подорвали свой авторитет участием в темных политических интригах.

* * *

Для жителей Аттики в полном смысле слова «своей» богиней была Афина-Паллада – покровительница войны и мудрости. Это суровое гражданское божество, чем-то напоминающее ассирийскую Иштар, являлось скорее символом государства, чем предметом религиозного

благоговения. Любовь к ней означала любовь к отчизне. Высшим делом благочестия в отношении к Палладе (как, впрочем, и к другим Олимпийцам) являлось участие в общественном культе и праздниках. Полагали, что богиня радуется им, и поэтому народ не скупился на парадные торжества, игры и состязания в честь своей покровительницы. Ей слагали торжественные гимны:

Славить Палладу-Афину, оплот городов, начинаю
Страшную. Любит она, как и Арес, военное дело:
Яростный воинов крик, городов разрушение и войны.
Ею хранится народ, на сражение ль идет, иль с сраженья.
Славься, богиня! Пошли благоденствие нам и удачу!¹⁴

Однако любая гражданская религия, лишенная интимной связи с верующей душой, как правило, суха и лубочна. У людей с богатым внутренним миром она нередко вызывает если не отвращение, то по крайней мере равнодушие. Культ городских богов рано стал превращаться в общественную повинность, а там, где в религии торжествует форма, она обречена на вырождение.

При этом казенному благочестию сопутствовал, как это нередко бывает, государственный фанатизм. Греция стала одной из первых стран, где начали гнать инакомыслящих. Преследованиям за оскорбление богов подвергались, как мы увидим, Анаксагор и Протагор, Сократ и Аристотель. Величайшим грехом считалось пренебрежение внешним культом или покушение на культовое имущество. Убеждение, что жертвой можно искупить любой проступок, способствовало, по мнению Платона, порче нравов.

Много говорилось и писалось о выхолощенности поздней религии римлян, но по справедливости нужно сказать, что прообраз этого омертвления существовал уже в эллинском полисе. Никакие политические страсти, состязания певцов или спорт не могли заполнить духовный вакуум, тем более что на смену массовой родовой психологии шло возраставшее самосознание личности. Человек уже переставал видеть себя только звеном гражданского целого. Власть общества и традиции начинали тяготить его.

Духом протеста и негативизма проникнута поэзия Архилоха (VI в.), который любил поднимать на смех почтенных людей города и привычные условности. Считалось, например, позорным потерять свой щит в битве. Но Архилоха это совсем не тревожило: «Сам я кончины зато избежал, и пускай пропадает щит мой». В дни всеобщего траура по погибшим согражданам он во всеуслышание заявляет: «Я ничего не поправлю слезами, а хуже не будет, если не стану бежать сладких утех и пиров».

Народные верования мало привлекали людей столь независимых, и хотя на словах они чтили богов, зачастую это была пустая формальность. Слишком земные, слишком понятные, боги оказывались существами почти того же порядка, что и смертные. Между тем люди не могут долго довольствоваться идеалом, который *не возвышается* над уровнем человеческого. То, перед чем человек может склониться, не унижая своего достоинства, должно превосходить его, а этого нельзя было сказать о гомеровских богах. Поэтому естественно, что взор мыслящих греков все чаще силился проникнуть в таинственные небеса поверх Олимпа. Но что они могли найти там?

Из поэм Гомера им было известно, что боги бессильны перед решениями Судьбы, а следовательно, правит миром она. Вселенная же, таким образом, являет собой как бы систему всеобщей зависимости. Раб подчинен человеку-господину, человек – игрушка богов, боги подвластны Судьбе. Удел человека – рабство не только внешнее, но и духовное, ибо он предстоит богам не с чувством смирения, а скорее как невольник. Смирение рождается из веры в благодать высших сил, между тем никаких признаков благодати Мойры у Гомера нельзя было найти. Ее

предначертания – лишь прихоть, не имеющая цели и смысла: они превращают мир и человека в абсурд.

Феогнид с упреком вопрошает Зевса:

Как же, Кронид, допускает душа твоя, чтоб нечестивцы
Участь имели одну с теми, кто правду блюдет?

И со вздохом отвечает сам себе:

В жизни бессмертными нам ничего не указано точно,
И неизвестен нам путь, как божеству угодить¹⁵.

Напрасно люди радуются своим победам над природой – от власти Рока они все равно не смогут уйти. Не старался ли отец Эдипа, получив предсказание, избежать гибели? И он, и сам Эдип, победитель Сфинкса, оказались повержены.

Но если такова участь земнородных, то какой смысл просить у богов счастья? Оно вообще пустая греза.

За красочными картинами гомеровского эпоса скрывается глубоко запрятанная мысль об обреченности людей и народов. Оборона Трои бесполезна – ее жребий предопределен; Ахиллес знает о неизбежности своей ранней гибели, Одиссей – об участи своих товарищей. И что удивительного, если у певца, прославляющего могучих витязей, внезапно вырывается скорбное восклицание:

Меж существами земными, которые дышат и ходят,
Истинно в целой Вселенной несчастнее нет человека!

В VII столетии поэт Мимнерм Колофонский продолжает эту линию гомеровского пессимизма, оплакивая быстротечную людскую долю:

Мы ж точно листьев краса, что рождает весны многоцветной
Время, когда над землей солнца теплее лучи.
Да, точно листьев краса, наслаждаемся юности цветом
Недолговечным: от нас скрыли и зла, и добра знание боги¹⁶.

Столь же печально смотрит на жизнь другой греческий поэт, Семонид с о. Самос:

Наш быстролетен день,
Как день цветка, и мы в неведение живем:
Чей час приблизил бог, как жизнь он пресечет.
Но легковерная надежда всех живит,
Напрасно преданных несбыточной мечте...
Все беды налицо – но керам³ нет числа,
И смертных горести ни выразить, ни счастье¹⁷.

Феогнид воскрешает древнее сказание о Силене, который объявил человеку, в чем для него высшее благо:

³ Керы – богини Судьбы, посылающие беды.

Лучшая доля для смертных – на свет никогда
не родиться
И никогда не видеть яркого солнца лучей.
Если ж родился, войти поскорее в ворота Аида
И глубоко под землей в темной могиле лежать¹⁸.

Даже поэт Анакреонт, стяжавший славу своими игривыми стихами, неожиданно как бы проговаривается:

Умереть бы мне! Не вижу никакого
Я другого избавленья от страданий!¹⁹

Так, подобно индийцам в эпоху расцвета аскетического движения, греки пришли к мысли о том, что земная жизнь – это долина скорби.

Однако, в отличие от Индии, Греция не сразу отвернулась от преходящего для того, чтобы искать истину в царстве Духа. Эллинское сознание поначалу пыталось найти путь *возврата к природе*, надеясь вернуть утраченную гармонию и равновесие. Это выразилось в культуре чувственности и обращении к природной мистике.

Многие в это время стали искать забвения в мимолетных радостях и бездумных наслаждениях. Иным казалось, что здесь нет лучшего помощника, чем вино. Старый аристократ Алкей с о. Лесбос, устав от бесплодной политической борьбы, провозглашает:

К чему раздумьем сердце омрачать, друзья?
Предотвратим ли думой грядущее?
Вино – из всех лекарств лекарство
Против унынья. Напьемся ж пьяны!²⁰

Так же и Феогниду панацеей от всех печалей представляется опьянение:

Скоро за чашей вина забывается горькая бедность,
И не тревожат меня злые наветы врагов.

Другим способом приобщения к «естественности» была эротика. «Фиалкокудрая, с улыбкой нежной» Сафо – знаменитая поэтесса Лесбоса – окружает себя семьей прекрасных подруг, с которыми предается изощренной игре чувств. Ее кружок – своего рода убежище любви, где девушки, скрывшись от жестокого мира, создавали себе иллюзию особой, исполненной красоты жизни. Сафо послушна «горько-сладостному неборимому змею». «От страсти я безумствую», – говорит она. Ароматный чад любви-муки, казалось, помогал забыть опостылевшие будни. Любовь, любовь – во всех видах и обличьях, лишь бы найти восторг и экстаз, пусть мгновенные! Нужно самозабвенно раствориться в природе и страсти. Погоня за «естественностью» оборачивалась противоестественным: Сафо воспевает своих девушек, Анакреонт – юношей; зарождается болезненное отчуждение полов, которое оказало роковое влияние на эллинский мир.

Этому способствовало и то, что в Афинах женщины составляли целый класс людей, живших под тяжким гнетом. Они были как бы частью домашнего инвентаря, служанками, отстраненными от всех интересов мужчин. Женщину лишали образования, ограничивали ее участие даже в общественном культе и развлечениях. Живя в атмосфере демократического строя

города, она не могла не тяготиться уродством своего положения. Поэтому не случайно, что женщины вскоре оказались наиболее рьяными поклонницами новых культов, открывших им свои двери и внесших оживление в их тусклое существование.

Еще унижительней была доля рабов. Прошли ахейские времена, когда невольник был почти домочадцем. Теперь раба вообще не считали за человека. Даже Платон полагал, что «в душе раба нет ничего здорового». Рабов, как скот, называли кличками, причем каждый хозяин менял их. Детей рабов нередко убивали или оскотивали.

Таким образом, прогресс демократии не коснулся значительной части общества, а примитивный уровень религии не позволял ей утолить духовный голод людей.

Чем меньше приходилось человеку бороться за хлеб насущный, тем острее ощущал он пустоту своей жизни, ее бесцельность и обреченность. Египтяне и индийцы преодолевали подобные кризисы благодаря вере в бессмертие. Гомеровская же религия, говоря о страшной преисподней, ожидавшей людей за гробом, внушала лишь тоску и ужас. Какое-то время патристический энтузиазм гражданского культа еще мог вдохновлять грека, питаясь чувством коллективной солидарности. Однако перед лицом смерти человек переставал быть членом общества и народа: смерть настигала его *самого*, и он, лишенный всех социальных оболочек, оказывался нагим и беспомощным у края пропасти. Минуту назад Патрокл был царем, непобедимым героем, внушавшим трепет, но вот – удар, и жалкая тень, сетуя и плача, уносится в темную пасть Аида... Лишь глубоко скрытый, непобедимый инстинкт подсказывал людям, что есть какая-то неведомая возможность иного исхода:

Людям одно божество благое осталось— Надежда.
Прочие все на Олимп, смертных покинув, ушли²¹.

Источником этой надежды оставался для греков опять-таки природный мир.

Глава третья

Мистерии Элевсина. Аттика, VII–VI вв. до н. э

В мистериях есть предугадание истины.
Климент Александрийский

С незапамятных времен чудо пробуждающейся весенней земли волновало человека, заставляя его задумываться над загадками мира. Засыхала трава, падал созревший колос, но каждый год оказывалось, что смерть природы лишь сон. Дремавшее в почве мертвое семя выходило навстречу солнцу в виде ростка, вновь луга и склоны одевала молодая зелень. В этом люди видели проявление извечного космического круговорота, в котором созидательные силы, сраженные полчищами тьмы, возрождаются и торжествуют.

Неистребимость жизни воспринималась как весть о бессмертии, как обетование Природы, в которой заключен залог вечного существования и для человека. Поэтому древние упорно стремились разгадать эту тайну, овладеть бессмертием или приобщиться к нему. Одетые в траур, они погребали Осириса, Ваала, Таммуза, Атгиса осенью и с ликованием встречали их пробуждение от смертного сна весной²².

В Грецию этот распространенный культ воскресающей природы проник, вероятно, с Крита, где он был связан с религией Богини-Матери. Около VII в. до н. э. мы уже застаем его в городке *Элевсине*, расположенном недалеко от Афин.

Гомеровские гимны содержат намек на критское происхождение Элевсинского культа. Там мы находим миф, повествующий о его начале.

Некогда в городе появилась старая женщина с Крита, по имени Доя. Она рассказывала, что много странствовала по миру и чудом спаслась от гибели. Пораженный необычным видом и мудростью Дои, царь Элевсина отдал ей на воспитание своего сына.

Однажды ночью мать подглядела, как пришелица погружает мальчика в огонь. На отчаянные вопли и укоры царицы таинственная женщина ответила гордыми словами: «Жалкие, глупые люди!» Оказалось, что ребенок мог получить из рук Дои бессмертие, но теперь это уже невозможно.

В то же мгновение по дому царя разлилось сладостное благоухание, тело странницы засветилось, стены озарило ослепительное сияние. Вместо старухи перед изумленными элевсинцами предстала прекрасная богиня. То была *Деметра* — могущественная владычица нив и цветов²³.

Она рассказала людям свою историю. Возлюбленная ее дочь Кора играла однажды на цветущем лугу среди фиалок и шафранов. Внезапно разверзлась земля, и колесница властителя преисподней Аида унесла трепещущую деву в подземное царство. Плененный красотой Кору, Аид захотел сделать ее своей женой. Но ему не удалось сохранить похищение в тайне. Прежде чем разверзшаяся земля успела сомкнуться над Корой, она издала жалобный крик.

Ахнули тяжко от вопля бессмертного темные бездны
Моря и горные главы. И вопль этот мать услышала.
Горе безмерное остро пронзило смущенное сердце.
Разодрала на бессмертных она волосах покрывало,
Сбросила с плеч сине-черный свой плащ
и на поиски девы
Быстро вперед устремилась по суше и влажному морю,
Как легкокрылая птица. Но правды поведать никто ей

Не захотел ни из вечных богов,
ни из смертнорожденных,
И ни одна к ней из птиц не явилась с правдивою
вестью²⁴.

Девять дней скиталась по земле Деметра, освещая факелами все закоулки, но нигде не находила следов дочери. И лишь на десятый день она узнала от богини Гекаты, какая судьба постигла деву. Гнев и печаль Деметры не имели границ; она приняла образ старухи и явилась к людям в Элевсин.



Голова богини

Узнанная там, она продолжала скорбеть. Отказываясь вернуться в сонм богов, она сидела в Элевсинском храме и пролиwała слезы. Тем временем «грозный, ужаснейший год низошел на кормилицу-землю». Напрасно быки тащили плуги по пашням, а сеятели бросали в почву семена: земля не давала всходов, печаль богини поразила ее бесплодием. Людям угрожала голодная смерть.

Это встревожило Зевса, при попустительстве которого совершилось похищение Кору. В преисподнюю был послан Гермес сообщить Аиду, что Деметра замышляет

Слабое племя людей земнородных вконец
уничтожить,
Скрывши в земле семена, и лишить олимпийцев
бессмертных
Почестей...²⁵

Опасность нарушения магической связи между людьми и богами принудила Аида задуматься. В конце концов он согласился на время отпускать молодую супругу к матери, но с тем, чтобы часть года она всегда проводила у него.

Деметра согласилась на это компромиссное решение и, научив элевсинцев тайным обрядам, вернулась к богам. С тех пор, пока Кора гостит у Аида, Деметра погружается в печаль, наступает зима, а когда она возвращается к матери, нивы вновь зеленеют.

Этот миф поразительно напоминает сказания о скорби Исиды и о нисхождении богини Иштар в преисподнюю. Был ли то странствующий сюжет или критяне и греки сложили свою версию независимо от Востока – сказать трудно, но сейчас для нас важно другое. Культ Деметры ознаменовал возвращение к *хтоническим*, подземным, божествам, сама природа которых связана с тайнами плодородия, жизни и смерти.

Почитание Деметры утвердилось не только в Элевсине, но постепенно распространилось и в других областях Греции. Вплоть до появления христианства элевсинские ритуалы привлекали очень многих. Поразительно, что они в каком-то смысле пережили все остальные греческие культы. Даже в XIX в. крестьяне Элевсина ставили в центре гумна изваяние Деметры, а когда его увезли в музей, жаловались на ухудшение урожая²⁶

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.